

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



ТОТ, КТО СТРЕЛЯЕТ ПЕРВЫМ...

РАССКАЗЫ

Прежде чем отдать приказ, он приподнял “чёрную вдову” — кругляш мины, таящей в себе мощь миллиона лошадиных сил. От неё нет спасения на минном поле, но и в мирных целях нет лучшей гиришки, удерживающей на узком столике штабную карту.

Освобождённая от грузила, карта под тяжестью хребтов и ущелий, переполненных синевой озёр и бесконечных паутин рек стала медленно сползать к дощатому настилу. И ползти ей было позволено до тех пор, пока взгляд комбата не уперся в коричневую кляксу Цхинвала. Майор, придержав лист, всмотрелся в окрестности города и неожиданно усмехнулся: река Кура, извивавшаяся по Грузии, оказалась на изгибе стола и читалась лишь как “...ура”. Клич атаки, крик отчаяния, возглас победы. К сожалению, теперь не общие с грузинами, у каждого своя свадьба...

Опустил “вдову” и на “...ура”, и на наши судьбы:

— В случае штурма города сдаём окраины.

Мы недоумённо переглянулись: сдать Цхинвал без боя? Мальчик, наверное, не понял, к кому попал. Мы в Грозном за каждый этаж, как за собственный дом...

— В бою солдат может спрятаться, город — нет. Чтобы прекратить его обстрел из тяжёлых орудий, надо впустить противника на улицы. Тем сохра-

ИВАНОВ Николай Федорович родился в 1956 году в Брянской области. Закончил Московское суворовское военное училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Воевал в Афганистане, провёл четыре месяца в плену в Чечне. Автор более двадцати книг прозы и драматургии, лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, «Сталинград», ФСБ России. Сопредседатель правления Союза писателей России. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». Живёт в Москве.

ним и здания, и жителей, и себя. А уж потом — полный огонь. Безостановочно. Но убиваем не всех. Оставляем как можно больше раненых.

Гуманист?

— Они должны бежать, ползти, катиться назад и сеять панику кровавыми ошметками у себя в тылу.

Однако поворот! Рязанское десантное стало выпускать мясников?

— И пусть страна, пославшая их в бой, тащит потом этих калек на своём горбу всю жизнь. Наука на будущее. Прививка от политического бешенства правителям. Спиртное на стол.

Наконец-то! А то валенки парил.

Из-за рации извлеклись бутылка с “кровью Микки Мауса” — спирт с кока-колой, и литровая банка мутного, словно в нём растворили зубную пасту, самогона.

Ни закуску, ни стаканы майор ждать не стал. Приподнял банку с мутной взвесью:

— За укрепление воинской дисциплины. В соседнем батальоне.

Всё же наш человек! Значит, повоюем.

— В нашем её укреплять не будем. У нас она должна быть железной.

Стрельбой “по-македонски” — одновременно с обеих рук, с полуоборота, точно в цель, — выбросил посуду в мусорное ведро. Кроваво-белая смесь, найдя трещину в дне, выползла на дощатый настил. Найдя уклон, угодливо покатилась к ботинкам новоявленного комбата.

— Дневальный! — поторопился пресечь подхалимаж начштаба.

В проёме палатки, словно двое из ларца, мгновенно выросли солдат и его тень. На груди у обоих, переламывая поясницы, лежал патронный ящик с надписью “Блок памяти”.

— Что ни прикажешь, всё забывает, — оправдался начштаба.

Комбат забарабанил пальцами по столу. Прислушался к возникшей мелодии. И сам же прервал её ударом ботинка, прихлопнув и растерев им, как назойливую муху, подкатившийся спиртовой шарик. На удар одиноко откликнулось ведро, то ли угодливо звякнув перед новым начальством, то ли выражая презрение к нему, как к слону в посудной лавке. Поди их, ведра, разбери. Железо.

Дневальный, не найдя даже в дополнительном блоке памяти вариантов действий, мёртво застыл. Повторяя хозяина, втянула голову в плечи и тень.

— И воевать, и служить отныне будем так, как положено! — не оставил майор иных знаков препинания, кроме восклицательного.

А мы здесь что, ваньку валяем?

Отодвинув двоих из ларца, комбат вышел под солнце.

Палатки стояли вдоль железной дороги — кратчайшего пути из Тбилиси в Цхинвал. Наикратчайшего, если бы над шпалами и рельсами непроходимы, словно мотки колочей проволоки, не клубились друг за другом кусты шиповника и ежевики. Тут теперь если только на бронепоезде или танке...

Собственно, батальон и оставили под городом потому, что из Гори на Цхинвал вышла грузинская танковая колонна. Поиграть мускулами, пощекотать нервы или с ходу в бой — про то разведка не донесла, плохо сработали штирлицы. В таком случае лучший выход — ударить по колонне самим, первыми. Но тогда, к сожалению, все военные науки затмит политика: Россию объявят агрессором, а Грузию и Украину введут в НАТО под белы ручки по красной дорожке. А оно нам надо — иметь под Брянском и Сочи американских генералов? Легче всего было бы плюнуть на эти горы и свернуться домой, на Среднерусскую возвышенность. Но при этом понимали: если не защитим осетин и собственных миротворцев, не только сами потеряем последнее уважение к себе, но и весь Кавказ покажет на Москву пальцем — это те, кто не способен защитить своих граждан. Кому нужна такая власть? И нужна ли вообще Россия как государство?

Так что сидеть десантникам здесь, в горной пыли. Бояться того, что “грызуны” взорвут Рокский тоннель и отрежут Южную Осетию от России, не стоит: тем, кто подталкивает Грузию к войне, не нужен победный марш. Им важнее втащить Россию в затяжную, изматывающую войну. Родить вторую

Чечно, которая взбудоражит регион. Потому наступающие станут убивать миротворцев и мирных жителей. Убивать до тех пор, пока Россия не вяжется в конфликт и не завязнет в нём. И вот только тогда наступит время основного, главного удара — по Абхазии. Она, с её портами на Чёрном море, и поставлена на карту. А Цхинвал — всего лишь отвлекающий манёвр...

Вдохнул комбат, пожалев политиков в Кремле: тяжело будет им выбирать между плохим и очень плохим. А солдату при таком раскладе вообще остаётся плясать от окна. Зная: кто стреляет первым, умирает всё же вторым.

Но хорошо, что плясали от печки.

“Град” градом ударил по Цхинвалу с наступлением ночи. Звезды, всегда близкие и огромные в горах, стали мгновенно гасить свет в окнах своих домов и суетливо прятаться в пелене пожаров, ища там спасение от молний-трассеров, прошивающих небо в поисках жертвы. А в самом городе бежали, ломая каблучки и теряя туфли, с разноцветных танцплощадок и кафе девчонки — да в темень, да в подвалы. Побросав невест, бежали в другую сторону парни — получать оружие и становиться преградой извергающему огонь валу. А между ними вжался в землю, не имея пока никакого приказа, десантный батальон. Эх, как же неудобно стрелять второму.

— Отходим? — подполз к комбату начальник штаба, памятуя о дневном раскладе предстоящего боя.

Советские танки украинского производства с грузинскими экипажами, обученные американскими инструкторами, уже расстреливали осетинских женщин и российских миротворцев. Дырявили стены домов и сносили головы у памятников по улице Сталина. Но комбат медлил. Медлил вместе с рассветом, упиравшимся в затылки гор всеми лучами солнца: утро только что видело, как расстреляли, изрешетили, изнасиловали ночь, и не желало подобного на своём пороге. Только откуда быть силушке у новорождённого? Не смогло ни упереться в исполины-великаны, ни зацепиться за верхушки лесных чащ — со страхом выкатилось новым днём на небо. В иное время прыгало бы козлик — ещё бы, 08.08.08, начало летней Олимпиады в Пекине, в Поднебесной зажигают олимпийский огонь...

— Огонь!

В появившийся на улице танк ненасытно, роем впилась, словно в сыр, крысиная свора пуль. Впилась без приказа из Москвы, под личную ответственность комбата. Но ведь не свежий хлеб он вёз осетинам! А ещё — хорошие танки делали в Советском Союзе: расшибив лбы о шербатую округлую броню, стальные коротышки замертво пали под гусеницы. Хотя и этого залпа хватило, чтобы танк попятился назад. Может, и впрямь в боевой технике всё же не броня главное, а экипаж?

— Гранатомёты вперёд! И патроны. Мне!

Между комбатом и начальником штаба втиснулась тень с уродливо перекошенным от низкого солнца “блоком памяти”. Начштаба, приподняв дополнительную солдатскую память, с гаканьем хрястнул её углом о придорожный камень. Щепки от ящика разлетелись в стороны, вывалив из нутра цинковые упаковки. Кашеева смерть для грузин пряталась дальше, и камень обречённо принял на себя и удар цинка. На этот раз из рваной металлической раны вылетели на волю картонные кубики. А уж в них любовно, словно ёлочные игрушки, и были упакованы, переложены маслянистой бумажной лентой близнецы погибших под гусеницами танка пуль.

— Так будем отходить? — с надеждой требовал приказа начштаба.

Комбат оглянулся. Из пригорода-шанхая, укрываясь увитыми виноградной лозой навесами, бежали в гору женщины с детьми. Там, на вершине, с перебитой переносицей, выгоревшими глазами, осевшее на одно колено, черно стояло на семи ветрах здание штаба российских миротворцев. По нему стреляли нескончаемо и со всех сторон, в нём уже нечему было гореть, но там и только там, у не спущенного российского флага, виделась цхинвальцам единственная надежда на спасение.

Летела в тартарары вечерняя логика комбата по ведению боя в городе. Нет, всё было бы прекрасно, не окажись в Цхинвале мирных жителей. Но вот вышла десанникам незадача — не ушли они из родных мест. И те-

перь солдатская ноша удваивалась: не только вести бой, но и прикрывать гражданских.

— Приготовиться к бою! — прокричал комбат по сторонам, потому что командиры всегда находятся в центре боевых порядков.

Это означало одно: батальон остаётся на месте. Замирает правым флангом вдоль железной дороги, по которой не ходят поезда. Уходит левым под линию высоковольтных передач и упирается в магазинчик с тандыром, в котором сегодня не выпекут горячие лепёшки. Остаётся, по крайней мере, до тех пор, пока жители не укроются, как за частоколом крепостных стен, за солдатскими бронежилетами в штабе миротворцев. Неправильная война. Не по тактике...

Тактику дал грузинский спецназ. Он свалился на головы десантников из рощи, приютившейся на пологом склоне вдоль всей дороги. Грузины катились с горы, для устрашения разрисовав на американский манер чёрной краской себе лица и поливая автоматным огнём пространство впереди себя. Наверное, Советский Союз окончательно похоронил себя именно в это мгновение — когда грузины пошли на русских...

Зря пошли. И нашли, кого пугать. Лучше бы хорошо учили военные науки: у наступающих должно быть превосходство минимум в четыре-шесть раз перед теми, кто сидит в окопах. Так что лягте, господа хорошие, своим боевым раскрасом прямо в цхинвальскую пыль. И почему все убитые застывают в несуразных, не героических позах? Их так скручивают, отбрасывают, опрокидывают всего лишь девять граммов свинца?

А вот раненые — те находят силы подтягивать под себя от боли весь земной шар. Кого задело легко, те и впрямь отбежали, отползли, и тут прав наш новый комбат — пусть сеют ужас и панику. А тех, кто не может двигаться, надо держать на мушке как приманку: за убитыми вряд ли поползут, а вот за ранеными — возможно...

Прикрывая окуляры бинокля от бликов, майор прошёлся взглядом по склону, так и не ставшему для спецназа трамплином через наши головы на незащищенный город. Дважды вернулся к камню на обочине, у которого он лично распластал очередью фигуру в чёрном. У раненого дёргалась нога, наверняка краешком зацепило и живот, потому что пальцы спецназовца тянулись к нему, а не к упавшему автомату. Собственно, что и требовалось доказать — выбивать наступающих из строя.

— Кажется, баба, товарищ майор, — нашёл времечко всмотреться в раненого дневальный. — Ловко вы её...

Майор замер. Усмотреть в безвольном, обмякшем теле женщину мог, конечно, только солдат, год их не видевший. Но наверняка ошибся. С какой стати на его выстрел вышла именно баба? Хотя в грузинском спецназе они есть...

— Вот и держи её на прицеле, — привязал комбат слишком глазастого бойца к "трофею". Уж дамочку свою грузины наверняка попробуют вытащить. И пойдут за ней минимум два-три человека, которых можно снайперски снять. А это — кто-то оставшийся в живых из нашей команды. Арифметика боя, выверенная до сотой доли после запятой, которой в Южной Осетии неволью стала девчонка из спецназа. Куда лезла, дура? Наносила бы на щёчки бедую пудру в Тбилиси, а не чёрную краску в Цхинвале... — Я её в бой не посылал!

А бой притих, захлебнувшись первой кровью. Грузии для победного броска всё же таки не хватало дыхания в один глоток, и теперь требовалось вытереть пот, насытиться боеприпасами, дождаться отставших. Лишь небо продолжали чертить серебристо-ангельские стрелы самолётов, время от времени сталкиваясь с выпущенными навстречу ракетами, вспыхивая при этом клубком огня и врезаясь в горы.

Всё же война. Настоящая.

Майор ломал голову над делами земными, сиюминутными: или пробиваться на выручку миротворцам, или оставаться на месте, прикрывая жителей. Бросок на гору, к трепещущему флагу, избавлял от необходимости раз за разом наводить бинокль на камень и испытывать что-то в виде угрызений совести. Однако если уйти, освободится пространство между засевающим на

склоне спецназом и жителями города. Уж на этот бросок у грузин одного глотка воздуха хватит. И про соотношение потерь при бое с жителями говорить не придётся...

— Стонет, — зудел над ухом дневальный.

— А что, должна песни петь? Глаз не спускай.

Сам приблизил девушку через бинокль на вытянутую руку, навёл резкость. Конечно, будешь стонать с таким ранением. В Чечне журналисты домогались рассказов о “белых колготках”, тут же впору переименовать их в “зелёные штаны”. Но сама виновата, умный в гору не пойдёт... А зацепил и впрямь живот. Теперь лежать ей надо только на спине и ни в коем случае не терять сознание. Иначе мышцы расслабятся, язык западёт, и девочка попросту задохнётся. Пробежала бы метров десять левее. Или правее. А теперь вот лежи...

— Что глядишь? — сам зыркнул на солдата, попытавшегося по выражению лица командира определить, что тот видит через окуляры. — Станут вытаскивать — так и быть, не стреляй. Баба всё-таки.

Солдат отлип от автомата, комбат нашёл себе дело на левом фланге, у тандыра. Да только что ему на флангах делать, там командиры рот и начштаба рулят. Место командира — на лихом коне, в центре. Напротив камня...

— Никого, — замотал головой дневальный, когда майор, возвращаясь, как с нимбом, с роем пуль над головой, распластался среди пустых картонных коробочек.

Комбат намерился привычно вскинуть бинокль, но глаз и без него безошибочно уловил: подёргивания раненой становились всё реже и замедленнее. Через пару минут солнце начнёт переваливать через валун, и лицо спецназовки откроется прямым лучам. Не выдержит ведь — оно здесь ядрёное, солнце-то...

— Что ж они своих-то бросают? — недоумённо оглянулся на солдата майор. — Нам, что ль, самим таскать?

Тень дневального сжалась так, что уместилась в дорожной выбоине. Всё ясно, скоро домой. Это в начале службы можно получить пулю по неопытности, а под дембель — только по глупости. Были десантники справа и слева, но они, как и положено, держали под прицелом свои сектора обстрелов. У него самого — валун и умирающая девушка. А может, и впрямь попробовать вытащить? Был бы там мужик, лежать ему до скончания века, то есть боя, а с женщиной — вроде как не по-джентльменски...

— Никто не рыпался к ней? — поинтересовался у двоих в ларце.

— Мёртво.

Мёртво — это хорошо. Не доблесть, конечно, а дурость — таскать из огня чужих, к тому же тобой подстреленных. И грузины, небось, подобного не делают. Но тут русский майор ВДВ! Мухой туда и обратно. Рисковать?

Эхма!

— Прикрой!

Вышвырнув из-под ботинок гравий, рванулся к камню. И — сволочи. Грузины сволочи. Они всё же держали на прицеле раненую, пусть и не как приманку, а просто оберегая её от посторонних — так отгоняют вороньё от жертвы.

Майор не был стервятником, но и его встретили огнём на распахе, едва тот раскрылся в своём стремительном орлином рывке.

Надломился комбат. Опрокинулся сначала в небо, потом неловко упал на бок. С усилием, ещё при памяти и силе, перевалился на спину: так и впрямь надо делать при ранении в живот, он не зря мысленно подсказывал это девушке.

И стих.

Зато заорал матом начштаба, выпустив смертельное содержимое автоматного рожка по роце. И когда в оглохшем небе беззвучно клацнула за последним патроном затворная рама, вдруг всё замерло. Нет, в далёком поднебесном Пекине зажигали олимпийский огонь, через Рокский перевал рвалась подмога от 58-й армии, сталкивая в пропасти заглушенные и перекрывшие дорогу машины. Утихало всё на нейтральной полосе для майора и девушки.

Земная жизнь начала течь уже без них, и, осознав эту отрешённость, они вдруг потянулись навстречу друг другу липкими от крови пальцами. Словно уверовав, что спастись они могут только вместе. Что ближе, чем они, на этой пыльной дороге и в белёсом горячем небе никого нет. Только бы солнце не перевалило за валун и не ослепило девушку. Если она прикроет глаза, открыть их вновь сил уже не хватит...

Подтянув своё обмякшее, переполненное кровью тело, майор с усилием выбросил его вперёд. Бросок получился ничемный, зряшный, потому что всё равно его не хватило дотянуться до девушки, хоть и было того расстояния ровно на ствол автомата, лежавшего между ними.

И перевалило солнце через валун. И сдалась девушка, прикрывая веки. И оставшийся в одиночестве майор тоже понял: всё! С этого момента ни ему, ни соседке не требовалось ни подтягивать под свои раны земной шар, ни отталкиваться от земли — та сама замерла перед тем, как принять рабов Божьих к себе.

И тогда встал с белым платком в руке начальник штаба. Из-за листвы торопливо, словно боясь опоздать, скатился грузинский офицер. Сделали навстречу шаги. И словно перезагрузился от вирусов блок памяти у дневально-го: неожиданно даже для самого себя он выгачил, поднял свою пудовую тень из дорожной выбоины и пошёл, пусть и на деревянных ногах, но рядом с начштаба. А со склона в ответ тоже появился в помощь своему офицеру спецназовец в чёрном.

Торопясь в последнюю секунду исправить непоправимое и несправедливое, четвёрка, все убыстряя шаг, начала сближаться. И побежала в конце, боясь опоздать. И выбежали им на подмогу другие солдаты, да с обеих сторон, да уже не высчитывая равного количества — доверились среди войны и ненависти друг другу. Хорошо всё-таки, что был Советский Союз.

И упали на колени живые перед погибавшими, оторвали их от слишком гостеприимной земли. Подняли, осторожно понесли, сдерживая шаг и пряча взгляды от пульсирующих ран. Каждого в разные стороны, в окопы, оцетинившиеся друг против друга оружием.

Тот, кто стреляет первым, умирает всё же вторым.

Но здесь молились, чтобы остались живы.

Оба.

ЗОЛОТИСТЫЙ ЗОЛОТОЙ

И сказал ей бородатый главарь, увитый по лбу зелёной лентой, — тебе туда. И показал стволом автомата на горный склон — за ним ты найдёшь своего сына. Или то, что от него осталось.

Если дойдёшь, конечно.

И замерли от этого жеста боевики, а в первую очередь те, кто устанавливал на этом склоне мины. Надёжно устанавливал — для собственной же безопасности, туда-сюда, движение.

Разведка федеральных сил не прошла — откатилась, вынося раненых.

Попавшие под артобстрел шакалы, спасаясь от снарядов, вырывались сюда на простор и на потеху Аллаху устраивали фейерверк на растяжках.

Пленные, что вздумали бежать, взлетели здесь же на небеса.

Сын? Нет, сына её здесь нет. Но они слышали о пленном русском пограничнике, который отказался снять православный крестик. Зря отказался: через голову и не стали снимать, делов-то — отрубили голову мечом, и тот сам упал на траву. Маленький такой нательный крестик на белой шёлковой нитке, мгновенно пропитавшейся кровью. Гордого из себя строил, туда-сюда,

движение. А то бы жил. Подумаешь, без креста... Дурак. А похоронили его как раз там, за склоном. Иди, мать, а то ночь скоро — в горах быстро темнеет. Жаль только, что не дойдёшь. Никто не доходил.

Пошла.

Пошла по траве, выросшей на минах и среди тоненьких проводков, соединявших гранаты-ловушки. Вдоль кустарников, израненных осколками. Вдоль желтеющих косточек чьих-то сынков, не вынесенных с минного поля ни своими, ни чужими. Собрать бы их, по ходу, раз она здесь, похоронить по-людски, с молитвой. Но она шла-торопилась к своему дитяти, к своей кровинушке, к своему дурачку, не послушавшему бандита. О, Господи, за что? Ведь сама, прилюдно надевала сыночку крестик на призывном пункте — чтобы оберегал. И видела ведь, видела, что стесняется друзей её Женька, пряча подарок глубоко под рубашку. Думала, грешным делом, что не станет носить, снимет втихаря.

Не снял...

А ей всё смотрели и смотрели вслед те, кто захотел иметь собственное солнце, собственную личную власть, собственных рабов. Ухоженные, упитанные, насмешливые бородачи. Три месяца она, ещё молодая женщина, ощущала на себе эти взгляды, терпела унижения, оскорбления, издевательства. Три месяца её секли холодные дожди. По ней стреляли свои и чужие, потому что по одинокой незнакомой фигуре на войне стреляют всегда: на всякий случай или просто ради потехи. Она пила росу с листьев и ела корешки трав. Она давно потеряла в болоте туфли и теперь шла по горным тропам, по лесным чащам, по невспаханым полям босиком. Искала сына, пропавшего в чужом плену на чужой войне. Невыспавшейся переходила от банды к банде, голодной от аула к аулу, заочневшей от ущелья к ущелью. Знала одно: пока не найдёт своего Женьку, живого или мёртвого, не покинет этой земли, этих гор и склонов.

“Господи, помоги. На коленях бы стояла — да идти надо. Глаза бы выплакала, да искать надо. Истоиво молюсь, ибо знаю — слабая молитва выше головы не поднимется. Помоги, Господи. Потом заведи всё, что пожелаешь: жизнь мою заведи, душу, разум — но сейчас помоги дойти и отыскать сыночка...”

— Сейчас, сейчас взлетит, туда-сюда, движение.

— Здесь ещё никто не проходил.

Ждали боевики, не спуская глаз с русской женщины и боясь пропустить момент, когда вздыбится под её ногами земля и закончатся муки.

Не заканчивались. Небеса, словно оправдываясь за страшную кару, выбранную для её сына, отводили гранатные растяжки. А то ангелы прилетели от него, от Женьки, и подстилали свои крыла под растрескавшиеся, с запечённой кровью ноги, не давая им надавить сильнее обычного на минные взрыватели. И шла и шла мать туда, где мог быть её сын. Уходила прочь от главаря с зелёной лентой, исписанной арабской вязью. И когда уже скрывалась она с глаз, исчезала среди травы, один из боевиков поднял снайперскую винтовку. Поймал в прицел стобленную спину: прошла она — проведёт других. Не взлетела — так упадёт...

Но что-то дрогнуло в бородаче, грубо отбил он в сторону оружие и молча зашагал прочь.

В ущелье.

В норы.

В темень.

Он не угадал. А тот, кто не угадывает, проигрывает...

А ещё через два дня к боевому охранению пехотного полка вышла с зажатым в руке крестиком на коричневой шёлковой нити седая старушка. И не понять было с первого взгляда, русская ли, чеченка?

— Стой, кто идёт? — спросил, соблюдая устав, часовой.

— Мать.

— Здесь война, мать. Уходи.

— Мне некуда уходить. Сынок мой здесь.

Подняла руки — без ногтей, скрюченные от застывшей боли и порванных сухожилий. Показала ими в сторону далёкого горного склона — там он.

В каменной яме, которую вырыла собственными руками. Ногтями, оставленными там же, среди каменной крошки. Сколько перед этим пролежала без памяти, когда отыскала в вольчей яме родную рыжую головушку, из-за которой дразнили её Женьку ласково “Золотистый золотой”, — не знает. Сколько потом перекопала холмиков и пролежала рядом с обезглавленным телом своего мальчика — не ведаёт тоже. Но очнувшись, поглядев в чужое безжизненное небо, оглядев стоявших вокруг неё в замешательстве боевиков, усмехнулась им и порадовалась вдруг страшному: не дала лежать сыночку разбросанным по разным уголкам ущелья, соединила головушку...

...И выслушав её тихий стон, тоже седой, задёрганный противоречивыми приказами, обвинённый во всех смертных грехах политиками и правозащитниками, ни разу за войну не выпавшийся подполковник дал команду выстроить под палящим солнцем полк. Весь, до последнего солдата. С Боевым знаменем.

И лишь замерли взводные и ротные коробки, образовав закованное в бронезилеты и каски каре, он вывел неожиданную гостью на середину горного плато. И протяжно, хриплым, сорванным в боях голосом прокричал над горами, над ущельем с остатками банд, над минными полями, — крикнул так, словно хотел, чтобы услышали все политики и генералы, аксакалы и солдатские матери, вся Чечня и вся Россия:

— По-о-olk! На коле-ено-о-о!

И первым, склонив седую голову, опустился перед маленькой, босой, со сбитыми в кровь ногами, женщиной.

И вслед за командиром пал на гранитную пыльную крошку его поредевший до батальона, потрёпанный в боях полк.

Рядовые пали, ещё мало что понимая в случившемся.

Сержанты, беспрекословно доверяющие своему “бате”.

Три оставшихся в живых прапорщика — Петров и два Ивановых, опустились на колени.

Лейтенантов не было. Выбило лейтенантов в атаках, рвались вперед, как мальчишки, боясь не получить орденов, — и следом за прапорщиками склонились повинно майоры и капитаны, хотя с курсантских погон их учили, что советский, русский офицер имеет право становиться на колени только в трёх случаях: испить воды из родника, поцеловать женщину и попрощаться с Боевым знаменем.

Сейчас Знамя по приказу молодого седого командира само склонялось перед щупленькой, простоволосой женщиной. И оказалась вдруг она, вольно или невольно, по судьбе или случаю, но выше красного шёлка, увитого орденоскими лентами ещё за ту, прошлую, Великую Отечественную войну.

Выше подполковника и майоров, капитанов и трёх прапорщиков — Петрова и Ивановых.

Выше сержантов.

Выше рядовых, каким был и её Женька, геройских дел не совершивший, всего один день побывший на войне и половину следующего дня — в плену.

Выше гор вдруг оказалась, тревожно замерших за её спиной.

Выше деревьев, оставшихся внизу, в ущелье.

И лишь голубое небо неотрывно смотрело в её некогда васильковые глаза, словно пыталось насытиться из их бездонных глубин силой и стойкостью. Лишь ветер касался её впалых, обветренных щёк, готовый высушить слёзы, если вдруг прольются. Лишь солнце пыталось согреть её маленькие, хрупкие плечики, укрытые выцветшей кофточкой с чужого плеча.

И продолжал стоять на коленях полк, словно отмаливал за всю Россию, за политиков, не сумевших остановить войну, муки и страдания всего лишь одной солдатской матери. Стоял за её Женьку, рядового золотистого воина-пограничника. За православный крестик, тайно надетый и прилюдно не снятый великим русским солдатом в этой страшной и непонятной бойне...

ТУЗЫ БУБНОВЫЕ

Сталин, прикрываясь от окружающих приподнятым плечом, подслеповато пересчитывал деньги. Отделив несколько купюр, оглядел Манежную площадь.

На глаза попался Карл Маркс, топтавшийся около знака “Нулевой километр российских дорог”, и вождь народов поманил его пальчиком. Тот с готовностью подбежал, выслушал указания и, получив деньги, заспешил в “Макдональдс”. Ленин, подпиривший от безделья музей своего имени, одобрительно пощипал бородку — это правильно, что за обедом бежит самый молодой. Предчувствуя скорый пир, покинул свой пост у входа в Александровский сад Николай II. Прижимая шашку к генеральским лампасам, заспешил в тень, падающую от памятника Жукову.

Её, тени от маршала Победы, потом хватило, чтобы накрыть всю компанию двойников, суетливо деливших гамбургеры и прикрывающихся от фотографов растопыренной пятернёй. А может, выставляли её как таку: снимок вместе со всеми стоит пятьсот рублей. Пятьсот рубликов постоять рядом с историей, её тузами. Кто первый?

— Кто готов? — Командир оглядел пограничников.

Когда строй в одну шеренгу — первые все.

Но на этот случай в шеренге есть ещё и правый фланг.

Там оказались Пашка и Сашка, и командир указал им на машины с бубновыми тузами на лобовых стёклах. Тузы в зоне боевых действий — всего лишь дополнительный пароль и пропуск. Символ меняется в штабе непредсказуемо и может быть кругом, треугольником, квадратом, любой абракадаброй, придуманной писарем.

Но сегодня Пашка и Сашка — тузы. И им выпадало вывозить отпускников с горного плато на нижнюю вертолётную площадку. Аэродром есть и вверху, но на календаре тринадцатое число, да ещё пятница, а суевернее лётчиков народа нет. Хотя сами они и списали невилет на ветер, который якобы может свалить “вертушки” в ущелье.

У пехоты тринадцатых чисел нет.

Вывесили бронезилеты на дверцы кабин: погибнуть от случайной пули в бок на войне считается почему-то глупее, чем от выстрела в упор. Распределили счастливицков с отпускными билетами по пять человек в каждый кузов. Снялись с ручников, покатали с плато вниз, до самодельных щитов с надписью “Стой! Заряди оружие”.

Отпускникам тянут карманы проездные и боевые, оружие только у Пашки и Сашки. Передёрнули затворы, загоняя патрон в патронник. Теперь для стрельбы хватит одной секунды — лишь нажать пальцем на спусковой крючок. От случайного выстрела тоже есть защита — поднятый вверх флажок предохранителя. Тонкая такая пластинка, способная блокировать любое движение внутри оружия. Приучил командир, переслуживший все звания мужиковатый капитан, что они здесь не воюют, а охраняют и защищают. А потому оружием не бряцать! Предохранитель вверх.

Лишь после этого “бубновые” начинают сматывать с колёс горный серпантин. Крутой, извилистый, он был пробит в своё время для ишаков. Затем пленные русские солдаты чуть расширили его для проезда машин: у боевиков на плато располагалась школа смертников, а те забирались высоко, прятались надёжно, на пятёрку. Сюда даже орлы не долетают, слабаками оказались они в сравнении и с боевиками, а потом и с пограничниками, которые эту школу смертников разыскали и с горы всех отличников вышвырнули. А орлы и сейчас невесомо парят крестами далеко внизу.

Настоящий крест, сваренный из металла, лежит на плато рядом со строящейся православной часовней. Тут же, на земле, в короткой тени от часовни расположился и латунный купол, вблизи больше похожий на шлем русского богатыря. Часовня, призванная укреплять дух православного воинства на Кавказе, без маковки и креста пока словно сама нуждалась в защите и потому жалась к складу боеприпасов, под охрану часовых.

Самым занятым оказалось то, что половина отпускников заработала себе поощрение за усердие при восстановлении мечети, пострадавшей в бою между пограничниками и смертниками. Ремонтировать, конечно, легче, чем строить, но почему начальник заставы столь рьяно читал местные законы, солдатам неведомо.

И впрямь: в аулах затвором ему не клацни, по улице выше второй скорости не проскочи, яблоко с ветки, даже если оно само падает в рот, не сорви. Словно не война здесь, а курорт.

“Бубновые” машины жались к скалам, подальше от могильных головок-кружительных провалов, наполненных парящими крестами из орлов. Прислужи здесь хоть год, хоть два, но ни за что не поймёшь, что легче — подниматься на плато или спускаться вниз. А тут ещё в самом деле пятница, тринадцатое...

Но зря вспомнилось Пашке под руку это число, ох, зряяяяяя!!!

Застонал об этом, когда нога провалилась вместе с педалью тормоза до самого пола, и машину плавно, но неотвратно, всем её многотонным весом и весом пяти пока ещё живых, счастливых отпускников потащило вперёд. А через мгновение уже не стонал — орал от безнадёги Пашка, потому что больше ничего не мог предпринять, потным лицом через окно чувствуя усиливающийся шелест ветра. Самое опасное в горах — это скорость. Глупцы, вешали какие-то бронезилеты на дверцу...

Почувствовав неладное в разбеге машины, заорали и счастливчики в кузове. Единственное, что они успевали — это выпрыгивать на ходу, падать в новенькой форме на острую пыльную крошку, сбивая в кровь колени и локти.

Но Сашка, — что за чудо оказался Сашка, стоявший на правом фланге ещё правее Пашки и потому выехавший на серпантин первым. Он тоже жался своим “КамАЗом” к скалам, тоже упирался в дорогу всеми “копытами” — обвязанными цепями колёсами, спуская свою душу с небес на первой скорости.

Но при этом он ещё смотрел и в зеркало заднего вида. В нём, дрожащем от натуги вместе с машиной, и увидел, как упирались в идущий следом “КамАЗ”, скользя и падая, стараясь остановить его на уклоне, Пашкины пассажиры. Ему самому ещё можно было увернуться от тарана, спасти хотя бы себя и своих отпускников, но ударил Сашка по своим нормальным, прокачаным тормозам. Зеркало вздрогнуло, наполняясь клубком из пыли, старенького “КамАЗа”, идущего следом, и падающих на обочину человечков-липутиков.

Когда длинное, нестандартное для солдатского грузовика, купленное на рынке зеркало от “БМВ” готово было лопнуть от переизбытка информации, Сашка всё же дал своей машине возможность чуть прыгнуть вперёд. Удар сзади достал, но мягкий, вдогонку, как и планировалось. Уже больше не отпуская влипший в него “КамАЗ” друга, Сашка стал притормаживать, сдерживая второй грузовик и своей многотонной громадиной, и весом своих пяти ошалевших, сжавшихся внутри кузова отпускников.

Но слишком крут оказался склон. Слишком большую скорость развил Пашка на своем тарантасе, чтобы удержаться в одной сцепке и не пасть мимо орлов на дно ущелья. И тогда, спасаясь от совместного падения, Сашка направил вытянутую, дымящую от перегрева морду своего “КамАЗа” на горный выступ. А тот и рад был выставить каменный клык аккурат в радиатор.

От удара выцекнуло из пазов приклеенное дешёвым ПВА зеркало от “БМВ”, полетело оно первым в пропасть, раскидывая, словно сигнал “SOS”, солнечные блики по горным склонам. С шумным облегчением вырвалась через рваную рану на свободу перекипевшая вода, — да только чтобы сразу испариться в ещё более перегретой пыли. А сзади слышался нескончаемый скрежет вминаемого капота Пашкиной барбухайки.

— Стоять!!!

Орал, шептал или просто молил Сашка — никто не знает, а он тем более. Понял другое — всё застыло.

Зато уверовавшие в спасение отпускники обессиленно попадали на камни у своих машин. Вытирая пот с лиц, подняли глаза в чистое, свободное даже от орлов небо.

Но не от боевиков.

Они смотрели на пограничников с гребня скалы, и мгновенно все вспомнили, что оружие — только у Пашки и Сашки. Тем для стрельбы хватило бы секунды, но флажки, тонкие пластинки предохранителя, поставлены вверх! А это ещё одна секунда. Страшно много, когда тебя самого держат на мушке, не давая пошевелиться.

Эх, командир.

Тринадцатое.

Пятница!

Разбив тишину и сердца пленников грохотом, упал скатившийся с гребня камешек. Не желая быть свидетелем расстрела, медленно, не привлекая к себе внимания, присело за вершину соседней горы солнце. В небе остались только перекрестившиеся взгляды боевиков и пограничников. И расстояния меж ними было как от православной часовенки до мусульманской мечети, которую они подняли из руин.

Но сумел, сумел по миллиметру, сдирая о камни кожу с рук, дотянуться Сашка до подсумка с гранатами. Всё! Теперь он спасён. Только однажды он видел пленных. Точнее, их изувеченные, с проткнутыми шомполом ушами, отрезанными носами, тела. А он не дастся. Успеть подорвать себя — невероятное счастье, редкая удача для солдата. Спасение от плена...

Со скалы прогремел камнепад — скатилась тонкая струйка песка в ореоле бархатной пыли. Этого мгновения хватило Сашке, чтобы дернуть руку из-под себя. Вроде как занемела, вроде отлежал её, а на самом деле вырвал чеку в “лимонке” — тонкие такие усики-проволочку, просунутые через отверстие в запале. И получила свободу пружина с бойком. И на пути у них теперь только одна преграда — нежнейший, не признающий малейшего к себе прикосновения, нарциссом красящийся от своей значимости капсуль. За которым — пороховой заряд. И мощи в этой идеально красивой солдатской игрушке, специально ребристой для увеличения числа осколков, вполне хватит, чтобы оставить тысячи автографов на скале, спасшей солдат от падения вниз. Спугнуть орла, не ведающего страха. И мягко, себе в охотку, потому как для этого и предназначалась, искромсать людишек, в эти игрушки играющих.

Жалко себя Сашке. И дом родной вспомнился с новой верандой, и вместе с этим воспоминанием вдруг испугался, осозная, как плохо они с бабей поставили в ней дверь — не по центру, а сбоку. Старались, чтобы не заметал снег и чужие кошки прямо с улицы не забегали в сени. Но теперь, когда будут выносить его гроб из хаты, намаются крутиться. Надо было делать выход прямо...

Тишина после камнепада стояла оглушительная, до звона несуществующих здесь кузнечиков. И боялся Сашка уже другого — что пальцы и впрямь онемеют и разожмутся прежде, чем подойдут боевики. Погибать одному, без врагов, на войне тоже почему-то считается глупо...

— Ушли, — прошептал шершаво в уши Пашка.

Он наверняка ошибался, наверняка снайпер продолжал держать их на мушке и ждал, кто первый поднимет голову. По тому и выстрелит. А у Сашки и за снайпера отчего-то головная боль: если стрелок неопытный, снайперка при отдаче рассечёт ему бровь...

Но пошевелился — и остался жив! — Пашка. И долго потом жил — сначала десять секунд, потом все двадцать. А потом ещё столь долго, что отказали Сашкины пальцы держать гранату. Знать не знал, ведать не ведал, что в переводе с латинского она означает “зернистая”. Учил про неё другое — что “зёрнышек” этих хватит усеять двести метров по всей округе. А вокруг теперь оставались только свои...

...Они потом долго гадали, почему боевики ушли без выстрелов. Кто перевозил Сашкину гранату, которую потом едва выцарапали из схваченных судорогой пальцев и уронили вниз, заставив-таки орла сложить в страхе крылья-крест и камнем пасть на дно ущелья. Кто переиначил тринадцатое число в обратную сторону. Про капитана, тамбовского мужика, не вспомнили — ни как он запрещал клацать затворами в аулах, как не давал мотаться по дорогам на скорости, давая в пыли беспечную домашнюю живность, как не

разрешал рвать алычу и яблоки, едва не падающие в рот. И про лозунг его — не воевать, а охранять и защищать, тоже не подумали. Что-то о мечети, поднятой из руин, заикнулись, но мимоходом. Не смогли солдатским умом сопоставить, что на войне политика вершится даже такими штрихами, что тузы бубновые на стёклах — уже не просто символ, дополнительный пропуск в зоне боевых действий, это уже и знак, переданный старейшинами боевикам — это хорошие солдаты, этих не трогать...

Да и некогда было особо об этом думать — подкрался на тягаче из-за поворота капитан. Поругал непонятно за что Пашку и Сашку, а спустив пар, обнял их и сам полез под днище машины менять лопнувший тормозной шланг. И, устыдившись своего страха, нашло среди горных круч расселину солнцем, ещё раз осветило колонну. А оттого, что было уже низко, удлинило тени, и казались теперь пограничники на крутом серпантине великанами, достающими головами до вернувшегося в пропасть, но так и не поднявшегося до солдат орла.

Не имел собственной тени лишь писарь, переклеивая на стёклах машин листы: с 18.00 в зоне ответственности пограничного управления менялся пропуск, и “бубновые тузы” переиначивались в треугольники. Да ещё шла в это же время шифровка в Москву: — “Боестолкновений в зоне ответственности не зафиксировано, потерь среди личного состава нет”.

А в самой Москве, рядом с Красной площадью, самостийные “тузы” выискивали глазами тех, кто готов был заплатить, лишь бы постоять рядом с историей. С теми, кто якобы вершил её для страны. А они, в ожидании своего куша, подкармливали вороньё, слетавшееся на крошки от гамбургеров...

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Над ним, толстым и неповоротливым, потешались всегда. А уж какое наслаждение одноклассникам и мучение учителям приносили уроки физкультуры с его участием...

Школа онемела, когда в десятом классе он стал мастером спорта! Пусть и по стрельбе, пусть. Но теперь учителей хвалили на совещаниях, и вчерашние инквизиторы стали холить и лелеять его наряду с цветочной клумбой под окном директора.

А ведь страсти к оружию у него никогда не наблюдалось. Наоборот, тайком сочинял стихи и грезил себя в репортажах. Но однажды его упростили отнести заболевшей девочке из параллельного класса домашнее задание, и он недовольно поплёлся опять же на параллельную улицу.

Зачем ему открыли дверь?

А если открыли — зачем это сделала сама Кадри!

Но даже если бы и она — нельзя же было распахиваться на груди белосинему, в полоску, халатику.

Он не увидел там ничего — мелькнул лишь ослепительно белый упругий окоём, не тронутый загаром. Но вспышки хватило, чтобы он ослеп. Сунув листок с заданием в дверь, на ощупь, по стенам бросился прочь от страшного дома.

С тех пор у него началась параллельная жизнь. Тенью в тени он перемещался за Кадри по Таллину. Завёл новую, недоступную для матери, тетрадь стихов. Путался в своём, но знал назубок расписание занятий в соседнем классе. Верхом безрассудства стало то, что без сожаления оставил литературный кружок, записавшись в стрелковую секцию, которую Кадри посещала уже год по средам и пятницам с 15.00 до 17.15.

— Из-за меня, что ли? — лукаво вскинула брови под воронью чёлку грациозная, как лань, Кадри. Ему, неуклюжему, оставалось только краснеть и что-то мямлить про будущую службу в армии.

Вопреки всем законам, их параллели не только сблизилась, но и соприкоснулись: на соревнованиях в Москве он нежно прижал её к себе во время экскурсии на смотровую площадку Останкинской телебашни. Не засмеялась, не оттолкнулась, — сама прильнула в ответ.

— Правлось, что ли?

Первый раз он порадовался, что такой большой — Кадри вместились на его груди, как воробышек на ладошке. И даже Москва с её миллионами огоньков поверженно лежала не то что у их ног, — под ногами.

Тогда он выиграл Всесоюзные соревнования и стал мастером спорта. Он больше никогда не повторит своего результата, да ему и не потребовалось это по жизни: на факультете журналистики МГУ проповедовался иной, сформулированный ещё Марком Твенном, стиль жизни: репортёру надлежит быть на месте пожара за десять минут до его начала, а остальное его не касается. А Кадри... Кадри — не по-эстонски стремительная, желавшая во всём выбиться в лидеры, послушалась родителей и осталась в Таллине.

— Не забудешь, что ли? — прятала за лукавством грусть.

В вечер перед расставанием они почему-то приехали на вокзал и бродили по перрону, с которого ему надлежало уезжать в Москву. Знали, что при родных они ничего лишнего себе не позволят. Например, поцеловаться...

— Любишь, что ли?

...Они переписывались почти год, наполняя почтовые поезда десятками, сотнями конвертов, открыток и бандеролей. Мечтали о встрече, и по мере узнавания Москвы он расписывал, куда пойдут гулять. Сначала, несомненно, в их Останкино, потом на Ленинские горы, потом к дому Булгакова, потом опять и снова Останкино, Манеж... Нет, Манежная площадь отпадала, на ней беспрерывно проводились митинги, а он желал остаться с Кадри наедине. Чтобы видеть только воронью чёлку над изогнутыми тонкими бровями, острый подбородочек, слегка тронутый ямочкой, и, если повезёт, если случится такая удача, если распахнётся блузка...

Этим и жил. Этим дышал. Даже развал Советского Союза не увидел, а почувствовал лишь через тон её писем: в них вдруг стала проскакивать сначала ирония, потом сарказм, а затем и открытое презрение к СССР, Москве, к русским сапогам над несчастной Эстонией. Господи, какие сапоги, если Москва однажды сама лежала под её туфельками на Останкинской телебашне!

Юмора не приняла, в подтверждение прислала пачку листовок с рисунками: границы Эстонии опутаны колючей проволокой в виде свастики и красной звезды. Тогда он впервые не ответил на послание и вспомнил фотографии гитлеровцев в её квартире. Кадри тогда отмахивалась — это бабушкины одноклассники, которых насильно забрали в вермахт при оккупации. Неужели ничего случайного в этом мире нет, ведь располагались снимки на стенах, где в русских избах висят образа?!

Почтовые поезда теперь можно было отправлять в Эстонию через день: всё остальное человечество отсылало в Таллин писем меньше, чем он нагружал эту службу один. А потом нашёл оправдание и своей выдержке в их обоюдном молчании: тогда, школьником, он влюбился не в саму Кадри, а в белый, не тронутый загаром полумесяц на левой груди. Да-да, на левой, Кадри открыла дверь левой рукой, и вслед за дверью стал распахиваться халатик. Он таких никогда больше не видел — в синюю полосочку...

Зачем она полезла в политику!!!

Спустя несколько лет он прочёл в спортивной хронике об её удачном выступлении на чемпионате Европы, искренне порадовался медали и даже позвонил в Таллин. Номер не ответил, и он согласился с тем, что было давно известно: молчала не Кадри. Это не откликалось его прошлое. Отгородилась новыми границами уже с настоящей колючей проволокой его юность...

А вот его разряд по стрельбе вкупе с дипломом репортёра сотворили с ним кульбит, когда задрезжал в резонансе Кавказ.

Первая волна журналистов потрудилась в этой “горячей точке” во вред России славно, восхваляя гордых сынов гор в их стремлении к свободе и независимости. На собственной же армии потоптались бесконечными телерепортажами, журнальными разворотами и газетными передовицами. Примолкли, лишь когда очередь дошла до них самих, когда стали гибнуть и попадать в заложники, несмотря на лояльность к боевикам. Когда стали взрываться дома в Москве, и никто не давал гарантии, что их собственные семьи не окажутся под руинами.

Желающих ехать на Кавказ поубавилось, и стали искать тех, кто хоть каким-либо образом был связан с армией. Тогда-то его школьные занятия в тире и показались кадровикам Агентства новостей едва ли не службой в спецназе.

Так он оказался в Чечне.

С него запрашивали не просто информацию, а обязательно эксклюзив. Если не получалось сработать в одиночку, требовалось хоть на десять секунд, но раньше собрать по палу выстрелить информацию на ленту новостей. Если и здесь шло чьё-то опережение, оставался так называемый контрольный выстрел: дать такую аналитику с места события, после которой остальным журналистам там становилось нечего делать.

Однако таких, первых, каталось под ногами у командиров с десятков, при этом каждый доказывал значимость и — шёпотом! — особую приближённость к Кремлю именно их редакции. Офицеры плевали на это надувание щёк, и потому на первый план в добыче информации стали выходить дружеские отношения.

У него наладились связи с начмедом. Не прогадал: пока все толкались у штабных карт и краем уха ловили обрывки радиопереговоров, ему позволено было отглавливать раненых в медсанбате и получать картинки боёв из первых уст. Взамен он давал начмеду пользоваться редакционным аппаратом с космической связью и не жадничал на командировочных, хотя поехал на войну как раз из-за двойного оклада и повышенных гонораров — хотел всё же достроить дачу на Клязьме. Только всё равно стенографистка, пусть и через спутник, но шепнула: ему ищут замену. Похоже, на Кавказе назревали какие-то события, и на его оперативность не очень-то надеялись. Так что кровь из носу требовалось выдать такой репортаж, чтобы в Москве ахнули и дали хотя бы доработать срок.

В этот момент медик и завернул на своей “санитарке” к их редакционному бытовому домику, нетерпеливо кивнул в кузов — быстро и никаких вопросов.

“Таблетка” понеслась вслед за “бэтээром” начальника разведки в сторону гор, и это предвещало как минимум абзац на ленте новостей в 100 рублей штука. А чутьё подсказывало, что союз разведки и медицины может потянуть на сенсацию. Эксклюзив и контрольный выстрел в одном флаконе. Боясь спугнуть удачу, старался думать о второстепенном — как поедет на базар выбирать подарки в Москву, как станет отмываться в Сандунах...

Затормозили резко, и первое, что услышал — зычный приказ начальника разведки:

— Всех посторонних убрать.

Он к посторонним относиться не мог и спрыгнул на землю. Однако разведчик при его виде взревел, изничтожив попутно взглядом начмеда. И было отчего: в бронетранспортёре до поры до времени скрывалась его собственная пассия — корреспондентша с радио.

— Всем оставаться на местах, — уточнил полковник предыдущую команду, сам направляясь с начмедом к группе бойцов, собравшихся у огромного валуна близ дороги.

— Снайпера взяли.

— Не взяли, а растерзали.

— И не снайпера, а бабу.

Охрана уже поймала все слухи и значимо делилась ими меж собой, хоть косвенно, но привязывая себя к событию.

— Под скалой пряталась...

— Ага, домкратом приподнимала валун, потом опускала. Трое суток выслеживали...

— Говорят, “белые колготки”...

Про “белые колготки” — снайперш из Прибалтики, он слышал не раз, но относил эти разговоры к разряду слухов. Во-первых, чеченцы сами неплохо стреляли, во-вторых, женские бытовые неудобства для боевиков были совсем ни к чему, в-третьих, ещё ни разу никто не видел “колготок” — ни живых, ни мертвых.

— Эстонка.

Имя, затёртое временем, тем более ни в коем разе не обязанное всплывать в памяти именно на войне, вдруг словно считалось с последнего её письма: “Кадри”. Из эстонок только она стреляла так, чтобы стать снайпером. Но против своих? Впрочем, чеченцы тоже вроде свои...

Она?

Вернувшийся разведчик ещё раз поскрежетал зубами возле него, потом поманил из “бэтэра” фигуристую блондинку. Они скосили друг на друга глаза, одинаково сожалея о присутствии конкурента.

— Значит, так, господа журналисты. Снайперша...

Это ещё ни о чем не говорит!

— Из Эстонии...

Конечно, нет. Просто не может быть, потому что не может быть никогда!

— Вашего возраста...

Ну и что? В Эстонии жило более миллиона человек, а из них половина мужчин, плюс старики, дети...

— Охотились за ней полгода. О её виде просьба ничего не писать, а тем более не фотографировать: ребята патронов не жалели, но их понять можно — на прикладе двадцать одна зарубка. Прошу.

Словно к обеденному столу, пригласил жестом к расступившимся спецназовцам. Сейчас он увидит... Кого? Всё же её? Какой?

— Прошу, — повторил полковник для него лично, потому что “протееже”, ломая ножки на каблучках, уже спешила к сенсации.

А он не трогался с места. Боялся увидеть растерзанную, изуродованную пулями Кадри. Судьба не имела права готовить им такую встречу, поэтому там, у валуна, не она. Но даже если есть сотая, тысячная доля такой возможности...

— Вы идёте или нет? — терзал разведчик.

Он не знает. Ноги не идут. Душа противится. Глаза не желают видеть. Сердце не готово знать.

Махнул рукой друг-начмед — иди же!

Сделал несколько шагов. К Кадри, своей Кадри...

Или всё же не к ней?

Остановился.

Да. Лучше не знать. Ему не надо идти туда, где, возможно, расстреляна в упор омовцами его первая любовь. Девочка, у которой однажды распахнулся халатик. А тем более он не имеет права делать из этого сенсации. И сколько раз в своей репортёрской работе он не обращал на подобное никакого внимания! Гнал строку. Делал “контрольный выстрел”. 100 рублей за абзац...

...Я уволил его из агентства в тот же день, перечитав шквал сообщений о прибалтийском снайпере на сайтах наших конкурентов. Мне не нужен был толстый и ленивый корреспондент на острие событий — несмотря на то, что ему надо было что-то там где-то достраивать.

Я не пожелал встречаться с ним по возвращении с войны, потому что отвечал в своём агентстве за оперативность и достоверность информации и не имел права выслушивать оправдания своих подчинённых.

Однако к вечеру зашёл к нашей лучшей стенографистке, вдруг написавшей заявление об уходе. Путаюсь пальцами в кавказской вязаной шали, она попыталась рассказать о девочке Кадри и о том, что Москва лежит под но-

гами только в молодости и на Останкинской телебашне, а не когда смотрит наши новости, с этой самой телевизионной наркотической иглы распространяемые. И отказалась забирать заявление обратно.

Я ничего не стал менять в предыдущем приказе — просто издал новый. О назначении только что уволенного, самого толстого и неповоротливого репортёра на должность начальника отдела. Морали и права. Именно там дольше всего оставалось вакантное место, на которое я никак не мог найти руководителя: очень боялся ошибиться в чем-то главном, коренном, основополагающем в журналистике...

ВЕРА. НАДЕЖДА. ВОЙНА

Их подогнали к лагерю на рассвете, по холодку, упрятав от лишних глаз за палатки. И выстроили не по ранжиру, не по номерам или списочному составу, а скопом, лишь бы вместились на косогоре.

Лишь одна, Любаша из новеньких, оказалась явно без царя в голове и выбилась из общей массы острой грудью, уже залапанной пыльными солдатскими пальцами, — я здесь, куда бежать, с кем целоваться?

Нацелуешься. Ох, намилуешься еще, дурёха...

Гарантию давал Ушастик, идущий к солдатскому гарему с фляжкой в руках. Улыбается батальон: у командира не только обгоревшие на солнце уши, но за ними он постоянно носит и два карандаша, которые нужны ему для работы с картой. Нужны-то нужны, но если смотреть со стороны, то ни дать ни взять — рожки выросли. Майору плевать на приметы, потому что ещё не женат, а значит, не обманут. Да и надо ли обманываться? Вон, батальонные девочки все как на подбор, даже ещё не клятая-немятая Любаша в ожидании команды только что не пританцовывает на бугорке: вперёд и с песней?

Будет ей и песня!

Глянул из-под выцветших бровей на остальных женщин. За время службы каждую изучил, как свои пять пальцев. Пардон, три: мизинец и безымянный на правой руке комбату срезало осколком ещё зимой, остались где-то в горах внутри утаившей варежки. Вот будет загадка для археологов через пару сотен лет, если найдут пропажу!..

Тряхнул головой майор, теряя из-за левого уха один “рожок”, вернулся в реальность, к своему гарему. Проверенные в боях и походах девочки, в отличие от Любы, вперёд батьки в пекло не лезли. Маша отступила за Раю, Надя сиаемским близнецом стоит впритирочку с Верой, а Зоя — та вообще откровенно спряталась за молоденького лейтенантика, в первый же день пребывания на войне потерявшего собственный “лифчик”. Кто-то сунул ему замену, и взводный под усмешки солдат торопливо пытался застегнуть его до того, как станет в строй. Вот лейтенант точно дурак, похлеще Любани, потому что всеобщий бардак войны — это прекрасная возможность улучшить личное материальное положение, а не терять свою амуницию...

— Офицеры, ко мне.

Солдат шуганул подальше взглядом из-под бровей, и десантура вмиг исчезла за ребристыми, словно от недокорма, боками своих красоток. А уж тем отступить было не за кого. Только и оставалось умолять командира взглядами: знаем, что не оставишь в покое, что обречены и подневольны. Но отпустил хотя бы помыться, очистить от пыли глаза, опустить ножки в водичку, окатить из шланга закопчённые спины. Неужели самому приятно смотреть на чумазых? Вон у связистов девочки — только что бархоткой не протирают...

Связисты, слов нет, молодцы. В отличие от десантников, им кто-то умный при выборе профессии вовремя подсказал, что нормальные люди из нор-

мально летящего самолёта сами не выпрыгивают. Они сидят в капонирах, им любой лоск наводить можно...

И потому не тряпицу-бархотку вытащил из своего “лифчика” Ушастик, а истрепанную в бахромку топографическую карту с боевой обстановкой. С синими уступами и красными стрелами. С цифрами почасового выхода на рубежи. Одного взгляда на эти художества командира стало ясно даже только что прибывшему в батальон лейтенантику: бой ожидается не шуточный, с неизбежными санитарными и безвозвратными потерями. Господи, пронеси!

Но не пронесёт ведь, потому что цифры и рубежи расположились практически вплотную, на один укол карандашом, оставшимся за правым ухом майора. Один укол на карте — всего-то сто метров на местности. Стометровка для спиринтера — 16 секунд. Батальону же, обвешанному оружием, способным сметать всё на своем пути, на преодоление дистанции отводится час. Значит, у противника оружие не слабее...

Нарушив тишину, вжикнул, наконец, замок на “лифчике” лейтенанта. Отметив нервный успех новичка, подмигнул ему первый ротный. Ему можно, ему точные науки по боку, он знаток русского языка. В своё время, врываешься при штурме Грозного в дом на окраине города, вывел по фасаду надпись: “Меняю девятиэтажный дом в Грозном на двухкомнатную квартиру во Пскове”. А тут хоть особняк в центре Москвы меняй на окопчик средь горного склона. Разница лишь в том, что особняка нет, а склон — вот он, уже под ногами. А боевой приказ в руках у комбата. Нету пути назад...

И хотя были офицеры почти все в орденах и медалях, за подмогой все же оглянулись на неровную шеренгу девочек. Выставленные словно напоказ, без солдатского хоровода вокруг себя, они вдруг сделались беззащитными и жалкими. И даже Любашка, этот несмышлёныш, глупыш, лисёныш, уже не рада была, что вылезла вперёд, приняла на себя все мужские взоры. А из одежонки-то — лишь бархатная пыль. И целоваться уже явно не хочется. И комбат недовольно поджимает губы: угораздило же ей иметь такое же имя, как и у его невесты. Сравнивай теперь, думай неволью, как огрывать, спасти...

Крякнул Ушастик, потеребил ухо оставшимся карандашом. Сколько раз его батальон под женской защитой ходил в атаки! Если уж быть откровенным, это их заслуга, что десантники сейчас стоят пусть и через одного отмеченные пулями, но — живые. Именно за девушками, как за щитом, врывались его бойцы в бандитские лагеря, форсировали реки и штурмовали высоты. Конечно, взрывались, горели, калечились батальонные Тани, Светы, Вали, Кати, именно в них впивались в первую очередь разрывные пули. Но когда уже виделась врагу победа, вставала вдруг стеной из-за любимых женщин десантура, кроваво хрипела “Ура” и водружала свои знамёна на горных вершинах. А девочек... покалеченных девочек списывали в утиль. Ничего не попишешь — война. Просто ждали, когда пригонят новых, благо хватало пока у России этого пушечного мяса...

Воткнул комбат карандаш в центральный синий выступ, поднял взгляд на первого ротного. Тот склонился к самой карте, словно пытался рассмотреть на ней окопы, доты, минные поля. Хотя ясно, что всё это узнается лишь на месте, на собственной шкуре. А Ушастик всё тыкал в новые и новые места, и офицеры, повторяя движение первого ротного, склонялись над ключком-оборвошем с коричневыми и зелёными разводами. И лишь когда затушилось острый грифель, когда перенеслась по кусочкам общая картинка боя на ротные и взводные карты, когда, встав на цыпочки, заглянуло через стриженные затылки офицеров на секретную схему солнце, сложил гармошкой карту комбат. Стал пить воду из фляжки. И вновь расстегнулся “лифчик” у лейтенантика, которому выпадало быть в резерве. Худшее из возможного. В резерве можно и отсидеться, но резервом затыкают и бреши, бросая в самое пекло...

Не дал застегнуться лейтенанту второй раз грозный рык Ушастика:
— И бабёе убрать с боевых машин! Завели моду!

Ушёл, выливая из фляжки остатки воды себе на голову, растирая капли под бронежилетом — немело зажатое стальными пластинками сердце,

просило воли. Хотя должно уже было знать, что в одиночку, без “броника” гулять ему по войне опасно...

— А может, как-то обойдётся?

Солдатики, вернувшиеся из укрытий к пыльным, чумазым красавицам, попытались взять в союзники взводных офицеров и уже вместе с ними воспротивиться указанию комбата. Они не видели карт и надеялись, что всё обойдётся: мало ли бегали на эти войнушки, иногда весь день только тем и занимались, что игрались с боевиками в детское “Сопка наша — сопка ваша”. Авось не отвернётся удача и сейчас, и не надо будет расставаться с любимыми именами. Ведь сильнее всего женщин любят, когда их нет рядом. А война — идеальное место для любви...

— Мы их масксетью прикроем...

Но не предали комбата, опрокинули навзничь солдатские уловки офицеры, словно сами никогда никого не любили:

— Выполнять приказ!

Не любили!

И, выкраивая время между загрузкой боеприпасов, укладкой дополнительных магазинов в “лифчики” — пусть простят женщины, но разгрузочные жилеты с множеством карманов для всякой мелкой ерунды, нужной в бою, с времён Афгана в армии называют “лифчиками”, — готовясь к бою, терли осколками кирпича свои острогрудые боевые машины солдаты. “Убирали бабё”, распускали “гарем” — стирали с брони женские имена, некогда любовно выведенные на башнях и, словно иконки, украшенные цветастыми окладами. Крошился красный кирпич, перетирая белую краску на зелёной броне. Исчезали Раи, Веры, Нади, — кто жена, кто невеста, кто просто обещал отвечать на письма.

Дольше всех сопротивлялась Люба, Любовь — её надпись не успела ни выгореть, ни заветриться, потому что только вчера её самолично вывел на новенькой броне жадный до первого своего боя лейтенантик. Но кирпич, взятый с развалин местной школы, знал своё дело, и обереги, символы, образы, имена всё же постепенно уменьшались, исчезали с брони. Так художники ластиком стирают ненужные детали в своих набросках. Только разве могли они быть лишними — те, кто любил и кого любили, кто истово ждал и к кому всей душой стремились!

Но в глубине души всё же соглашались со своим комбатом солдаты: а ведь и впрямь нельзя подставлять под гранатометы, мины, разрывные и трассирующие, — вообще никакие пули, — женские имена. Сами — ладно, уж как-нибудь, как повезёт, с божьей помощью и родным АКМС, который “Автомат Калашникова модернизированный складывающийся”.

...И вёл на закате в атаку на горный укрепрайон свои острогрудые, ребристые боевые машины теперь уже с Петями, Колями, Иванами, с русскими парнями Герой России, майор с обгоревшими ушами и со срезанным безмянным пальцем, на которое теперь уже никогда не наденется обручальное кольцо. Плясали под огнём “Вера” и “Надежда”, прикрывая друг дружку. Вертелась на одном месте с перебитой гусеницей “Зоя”, не прекращая огня. Отстреливалась до последнего, даже не ведая набитым железом, боеприпасами и электроникой нутром, что её имя означает “жизнь”. Казалось, стерли солдаты имена любимых, попытавшись оградить их от беды. Но незримо, явью проступали они над полем боя, над булавочным уколом, вместившимся в себя выжженную огнём стометровку, которую возвращали солдаты для России...

И держали, берегли до последнего в батальонном резерве БМД с бортовым номером 18. То ли просто потому, что спасал комбат молоденькую, “восемнадцатилетнюю”, неопытную, только что прибывшую на войну “Любовь”, то ли всё же думал тайно о своей невесте, то ли впрямь по судьбе именно этому имени выпадало закрывать собой брешь в атаке.

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

В Город мёртвых не решались заходить даже десантники, все из себя сплошь легендарные и невозможные. Им хватило одного раза, когда захотели посмотреть, что творится внутри каменных построек без окон и дверей, расположенных вдоль ущелья. Не без азарта пробили стену, но первый же любопытный едва не пал замертво от страха — из проёма на него смотрели обвитые паутиной мумии женщины с ребёнком на руках.

Откуда было знать, что сюда веками свозили людей, поражённых неизвестными болезнями. Помещали несчастных в склепы, оставляя лишь окошко для передачи пищи. Когда еду переставали забирать, отверстие замуровывали. Это был единственный для горцев способ спастись от чумы и мора.

Штаб оперативной группировки, не ведая о Городе, дал указание десантной разведроты стать лагерем именно в этой точке. Не сослепу, конечно, и не ткнув пальцем в небо, а из военной необходимости: сюда сходилась слишком много горных троп. А солдату что? Где положить вещмешок, там и дом.

Десантники тоже так думали, пока не заглянули в странный Город. После, насколько возможно было отодвинуть соседство, настолько и пятились вглубь ущелья, где засели боевики. Хоть и ближе в пасть к зверю, но зато живому.

Со временем каменные пирамиды стали привычными: Город хранил покой своих обитателей, а в палаточном лагере жизнью правил и распоряжался старший лейтенант Ярыш, не верящий ни в чёрта, ни в Бога, а только в автомат и своих разведчиков. Даже подтрунивал над ними, находя в палатках иконки: у нас, братцы, дела хоть и суетные, но земные. Так что, пока на войне, смотрите под ноги, а не в небо.

Кроме веры в оружие старший лейтенант имел ещё хронический гастрит, невесту в Пскове, восемьдесят одного человека в подчинении, два ордена, три выговора и последнее сто пятое китайское предупреждение в том, что вылетит из армии пулей, если будет и дальше самовольничать при выполнении боевых приказов.

Последнее в конце концов его и сгубило.

Москва на связь с лагерем вышла в полдень.

— Сергей, тебя.

Ярыш с усилием приоткрыл один глаз. Второй оставил досыпать в надежде, что побудка не окажется важной.

Над нарами стоял с прижатой к груди телефонной трубкой командир огнёмётного взвода Шаменин:

— Москва на проводе.

Слово “Москва” хотя и заставило Ярыша открыть второй глаз, но для того, чтобы подняться — столицы, видимо, оказалось всё равно недостаточно.

— Из Госдумы, — оправдал огнёмётчик свою наглость будить командира. Но и подчистил пути отступления: — По крайней мере, так представились.

Ярыш взял аппарат:

— Я — “Барсук” лично, слушаю.

Слушал долго, почёсывая небритую щеку. Двое суток перед этим он ползал с разведчиками по горам, и никто бы его, конечно, не осмелился тревожить, не будь таким высоким статус абонента.

Выслушав сообщение, Ярыш вернул трубку лейтенанту. Снова лёг, отвернувшись к стене и натянув простыню — скорее от мух, чем для тепла.

— Всё равно не спишь. Чего там? — постучал ногой по нарам Шаменин.

Ярыш повернулся на спину, с тоской посмотрел на когда-то белую подкладку палатки.

— Тебе фамилия такая — Махонько, что-нибудь говорит?

— Махонько? Такой у нас не служил.

— И не будет. Но если на его голову упадёт хотя бы пушинка, с меня, видите ли, снимут погоны...

Ярыш встал, прошлёпал босыми ногами по пыльному настилу в дальний угол жилища. Там приподнял одну из досок, за верёвочку вытащил из вырытого подполья закопчённый чайник. Приложился к носику, изогнутому игровой девичей.

— А подробнее? — дождавшись, когда чайник вновь опустится в прохладу, попросил огнемётчик.

— Сейчас узнаем из штаба группировки, — вернулся на своё лежбище Ярыш. Носками вытер ступни ног, но одеться-обуться не успел: надрываясь, зашёлся в непрерывном звоне телефон.

— Я — “Барсуk”-лично, слушаю вас... Так точно, звонили... Товарищ полковник, я на боевые вести людей не готов. А потому что не готова сама операция... Да, и там стреляют...

Здесь Ярыш надолго замолчал, явно выслушивая угрозы. Но последнее слово оставил за собой:

— Я людей под пули не поведу.

Решение вряд ли понравилось начальству, его о чём-то предупредили, и ротный огрызнулся:

— Ну и увольняйте.

Бросил трубку.

Огнемётчик сжался: будучи всего лишь лейтенантом, пусть и старшим, но перечить начальнику разведки... Как ему давали ордена?

Ярыш начал рыться в тумбочке в поисках чистой, а главное, одинаковой пары носков. Однако они оказались протёртыми на ступнях, и он вернулся на прежнюю должность старые.

— Да объясни ты толком, — простонал властитель огня.

— Скоро выборы.

— А мы-то здесь при чём?

— Мы ни при чём, а вот рейтинги политиков... Господам вновь надо доказывать свою незаменимость. А некоторые даже захотели закрыть Родину грудью. И сходить в бой.

— А почему с нами? — начало доходить до Шаменина.

— А у нас нет потерь! Живыми-то хотят остаться!

Стремительно вышел из палатки.

Лагерь был пуст. Лишь на линии боевого охранения — там, где за бочками, набитыми камнями, стояли гаубицы и “бэемдэшки”, где ломаной линией траншей пролёг пояс защиты десантников, время от времени колыхались в мареве каски часовых. Тишина и покой. Полное умиротворение. Если не знать, что через две ночи боевики потащат через ущелье караван с оружием. Это если их ничто не спугнёт. А спугнуть не должно. Поэтому надо сидеть и ждать, сидеть и ждать. Тихенько. Несмотря на выборы и рейтинги...

— И что делать будем? — стоял за спиной огнемётчик.

— Бриться, — потрогал щетину комроты.

Направился к артиллерийской гильзе, приспособленной под рукомоиник, подбросил вверх гвоздь, служащий соском. Долго тёр шею, — её-то, собственно, и намылили. Зато вода, видимо, охладила пыл, и Ярыш дрогнул перед последствиями за свою дерзость. И вдогонку первому ответу обречённо добавил:

— Готовить роту к бою.

— А...

— Б. Взводных ко мне.

Упаковывал московского гостя в солдатскую амуницию Ярыш самолично. В конце, словно комут в конской сбруе, с усилием затянул бронезилет на круглом животе политика.

— Но... там всё нормально, всё продумано? — вроде мимоходом, но пожелал лишний раз удостовериться в подготовленности операции Махонько.

— Вы видели донесения. Идут связники.

— Но точно сегодня?

— Моя разведка гарантирует с точностью Гидрометцентра.

Гость насторожился: это тупой армейский юмор или легкомысленность? Отыскал в закромах памяти байку:

— А во Франции местному Бюро погоды писатели присудили литературную премию за самые фантастические сюжеты.

— Наша погода — на два часа вперёд. Потому без промаха. Примерьте-ка, — старший лейтенант подал каску.

— А гранаты будут? — поняв, что отступления не планируется, поинтересовался Махонько. И не преминул щегольнуть знанием тайны, которую бойцы велух перед боем вообще-то никогда не произносят: — На самоподрыв, ежели что...

Наверное, ему было приятно щекотать себе нервы, зная, какие указания по его безопасности ушли из Москвы. Ведь не дурак же командир терять пусть даже и маленькие, но звёздочки. Сто раз должен подумать, прежде чем брать на операцию...

Ярьш вместо гранат распахнул по карманам гостя перевязочные пакеты, сигнальные ракеты.

— Связники в силу своей значимости отстреливаются до последнего, так что документы, ценные вещи сдайте связисту.

И тут, наконец, Махонько дрогнул. По прилёте он ничем не выказал своего беспокойства, кроме излишнего вороха анекдотов и баек про светскую жизнь. А направляясь перекорнуть пару часов в палатку связистов, даже доверительно склонился к сидевшему над картой ротному:

— Тут небольшая просьба. По возможности. Раз уж оружия не даёте. Если вдруг будут ранены... С вашего позволения, так сказать... Вы уж дайте мне с ними сфотографироваться. Не мне нужно — для буклетов там, листовок. Эффект, так сказать, личного депутатского присутствия... Кто-то в Москве, конечно, сидит, а я вот к вам, к настоящим мужикам...

Надо отдать должное — сам застыдил своей просьбы и уткнулся в фотоаппарат. И во благо, потому что огнёмётчик навалился на Ярьша и не дал тому встать и грохнуть табуретом об пол.

Сейчас, экипируя гостя и уловив его замешательство перед сдачей документов, ротный, наконец, испытал удовлетворение. Было бы, конечно, совсем здорово, если бы Махонько откровенно струсил и вообще отказался лететь. Пусть бы даже просто намекнул об этом — нашлась бы уважительная причина это сделать. Что вертолёт, например, перегружен. Или разведданные не подтвердились. Но москвич, хотя и заколебал барабанной дробью пальцами по “бронику”, отказываться не стал. Видать, деньги в Госдуме платят такие, что один раз можно и перетрусить...

В вертолёте посадил гостя с краю, сам сел рядом, отсекая от солдат с их усмешками. Машина закачалась, набирая полную грудь воздуха, приподнялась и, набычившись, пошла вдоль ущелья. Свет в салоне и кабине погасили, и лишь лампочки подсветок еле теплились зеленоватыми, жёлтыми и красными огоньками. Махонько, вцепившись в металлическое сиденье, неотрывно смотрел на них, страшась уловить в их мерцании угрозу полёту.

Летели около пятнадцати минут, после которых старший лейтенант кивнул вертолётчику — сажай, хватит жечь керосин.

А потом был стремительный бросок через горушку — и бой на зловещем фоне Мёртвого лунного города. С морем огня в темноте. “Ромашка” — портативная рация на груди у комроты, не умолкала, но когда Махонько попытался записать эфир на диктофон, Ярьш отбил его ударом по руке — донесения секретные, лучше от греха подальше.

Зато, когда неподалеку раздался гранатный разрыв, эта же рука, только что ударившая, и пригнула к земле гостя. Ярьш спасал то ли его, то ли свои погоны, тем не менее этот жест Махонько благодарно отметил, даже уткнувшись носом в горную крошку.

Когда позволили поднять голову, перед ним и ротным стояли связанные два боевика в потрёпанной одежде. Всё же получилось. Взяли!

— Уходим! — прокричал в “Ромашку” Ярьш.

Засвистели, торопясь набрать подъёмную мощь, вертолёты. Пленных, толкая автоматами в спину, погнали к ним первыми, следом, прикрывая собой добычу, попрактились разведчики. Одного из боевиков уложили на пол “вертушки” практически под ноги Махонько, и тот не упустил возможность незаметно попинать его ботинком в бок — из-за тебя, сволочь, рисковали жизнью. Теперь бы только долететь обратно, только вернуться. И сразу на Москву. Успеть увидеть зависть в глазах коллег...

Улетал Махонько этими же “вертушками”. Они терпеливо ждали, пока гость нафотографируется со всеми, сдаст амуницию и пересмотрит документы. Потом он ещё какое-то время ходил среди солдат, толкался, давал всем закурить, подмигивал — мы это сделали! Ярыш, ожидая отлёта, покуривал в сторонке и тоже легко улыбался. Он свою задачу выполнил — и волки сыты, и овцы целы.

Обняв всех, кого надо и не надо, Махонько припал грудью даже к вертолётчику, с которым предстояло лететь обратно.

— Будешь в Москве — обязательно ко мне, мы это дело отметим по-столичному, — посчитав бой лучшей проверкой братства и потому перейдя на “ты”, последним подошёл к Ярышу. — Возьми, — протянул визитку.

Ротный взял бумажку, одновременно кивнул лётчику — увози быстрее. Нет проблем, — улыбнулся тот и одним щелчком тумблера заставил вращаться лопасти. Вихрь от них выхватил у Ярыша листок, швырнул в сторону, в водоворот пыли и ветра.

— Куда уехал цирк, он был ещё вчера, — пропел за спиной огнемётчик.

Лейтенант развязывал боевиков, и ротный подошёл к ним, приобнял, извиняясь за пинки и зуботычины. Контрактники, игравшие роль связников, незлобливо отмахнулись: ради маскарада стоило и потерпеть. Ярыш оглядел всех участников шутовского боя:

— Всем забыть, что здесь было на самом деле. Командирам взводов — привести оружие к нормальному бою.

Разведчики, подхихкивая, выстроились в шеренгу. Начали откручивать со стволов компенсаторы для стрельбы холостыми патронами и представлять офицерам оружие к осмотру. Так воевать можно...

— Товарищ старший лейтенант, вас из штаба группировки, — подбежал связист, приглашая командира к рации.

Ярыш со спокойной душой направился к палатке.

— Да, вылетели, — сев на нары и стаскивая с ног ботинки, ответил на главный вопрос начальника разведки. — Нет-нет, можете передать, что вёл себя геройски. Даже в атаку ходил. Конечно, в бронезилете и каске, как без страховки. Он фоток наделал, там сами всё увидите, — подмигнул вошедшему огнемётчику — всё прокатило. Однако тут же привстал, оступился о полуснятый ботинок и повалился обратно на нары. — Нет, я не буду... Всё равно... Не могу...

— Лейтенант! — заорали в трубку так, что Ярыш отстранил её от уха. И голос начальника разведки стал слышен и огнемётчику: — Я тебе приказываю: за проявленное мужество и героизм представить Махонько к ордену Мужества.

— Пишите сами, — бескровными губами прошептал Ярыш, но его услышали.

— Что-о? Я напишу! Но завтра... завтра ты сдашь роту новому командиру. А сам в ремонтные мастерские. Глотать соляру. Командиром взвода.

— Есть... — выдавил старший лейтенант. У него оставался шанс уточнить — “...писать представление”. Но Ярыш слотнул ком: — Есть сдать роту.

Бросил трубку. Потрогал щёку — зря брился, знал же, что не к добру перед боем прихорашиваться. Только бой-то затевался игрушечный...

Почувствовав, что стоит на полуснятом ботинке, дёрнул ногой так, что обувка улетела в угол.

— Так ты и сам сказал, что он действовал геройски, — попытался перевести всё в шутку Шаменин, но осёкся под тяжёлым взглядом командира.

— Да если бы наших солдат так награждали, они бы у нас ордена уже на спине носили, — усмехнулся Ярыш.

— Но там же выборы...

— У нас здесь у каждого тоже свой выбор.

Босым вышел из палатки. Пока ещё его разведчики, весёлые и довольные ночной прогулкой, забросив на плечи пулемёты, словно косы, шли от вертолётной площадки к палаткам, похожим на стожки сена. Настоящая косьба начнётся для них в другое время и в другом месте. Коси, коса, пока роса. Роса долой — коса домой...

Крутовыми движениями по часовой стрелке, как учили не имеющие достаточных лекарств батальонные медики, провёл по груди и животу, успокаивая резь от разыгравшегося гастрита. Может, и впрямь он появляется не от пищи, а от нервов? Зато теперь можно и в госпиталь лечь — из ремроты можно отлучаться, там спокойно...

Со стороны Мёртвого города начинал заниматься рассвет. Солнце по закону востока всегда вставало над каменными склепами, но сейчас это почему-то показалось старшему лейтенанту плохим предзнаменованием. Беря на себя грех за потревоженный покой обитателей Города, шёпотом попросил прощения у каменных изваяний:

— Ради живых...

И впервые за службу — может, потому что босой и без оружия сам был абсолютно незащищен, — пронзительно почувствовал страх за своих подчинённых. Сейчас, ещё все живые, они шли к своим постелям, к своим прерванным снам, к своим иконкам. Кто поведёт их в бой завтра? Все ли вернуться?

Поднял взгляд в просветлённое небо. Не зная молитв и не привычный креститься, он просто попросил у него удачи своим разведчикам. Признавая, что дела земные вершатся под ним, под небом.

ПОМЯНИ, ГОСПОДИ...

Священник крестил красные звёзды.

Они были одинаковыми, под трафарет вырезанными, как одинаковыми оказались и серебристые пирамидки, названные в сельской кустарной мастерской памятками. И таблички, без разбору приваренные местным сварщиком дядей Сашей, тоже были для всех одни и те же: “Неизвестный солдат”.

Хоронили погибших.

Не из ржавых ржевских болот или бескрайних брянских буреломов предавались земле останки ратников-бойцов-воинов образца 1941—45 гг. С круч крутых кавказских вывезены воины-солдатики-мальчишки, но уже рождения конца XX века. И не найденные следопытами, а отданные для захоронения медиками и прокуратурой. Без имен и фамилий. Безымянными. А потому — вроде как бы ничьими...

А всего-то и нужна была самая малость, чтобы миновала их подобная участь — останься от человека хоть какая-то зацепка. Например, котелок с нацарапанной ножом фамилией. А лучше — медальон с биографическими данными. На худой конец — жетон с личным номером.

Да только уходившие первыми в Чечню полки и бригады менее всего думали о котелках и кашах: в спешке побросали в рюкзаки вперемешку с пачками патронов и гранатами сухпайки, а в них сплошь — одноразовая пластмассовая посуда. Она первой и плавилась. Впрочем, в том аду, что испытали вошедшие в Грозный войска, плавилась и котелки: находили потом алюминиевые расплавленные сгустки. Тут царапай не царапай, всё равно ничего не выгадали бы солдатики.

И с медальонами полная промашка вышла: полвека после Великой Отечественной тыловики занимались всем, чем угодно, только не возможностью сохранить имя солдата. Так и не придумали для идущих на войну медальоны. Считали — мелочь. Или ленились. А скорее всего, просто не верили, что понадобятся.

Жетоны же с личными номерами рядовому и сержантскому составу вообще не положены. Только офицерам и контрактникам. Потому, как ни крути, а послали армию в Чечню не штучным товаром, а простой солдатской массой.

Так и гибли — массой...

А ещё научились, говорят, определять родство по ДНК и анализу крови. Всё бы хорошо, да только у некоторых погибших даже кровь выгорала. Дотла, оставляя от человека лишь горсточку пепла. Поди узнай по ней, кто ты, солдат? Чей? Какого роду-племени, полка-дивизии?.. Словно насмехаясь, война отбросила всех в каменный век, оказавшись выше человеческой цивилизации и её достижений, выше лабораторий с их электронной начинкой, химических препаратов и компьютерных баз данных. Родные и известные до последней черточки сотням людей, любимые и желанные, солдаты в первую чеченскую кампанию умирали неизвестными...

И лежали потом нераспознанными останками в ледяных рефрижераторах Ростовской военной лаборатории. Под номерами. Долго лежали. Годами. Получилось — до скончания века. Двадцатого. Их, в большинстве своём тоже двадцатилетних, могли, готовы были забрать матери, не дождавшиеся своих сыновей после войны — но не выдавали. Не положено известным отдавать неизвестных.

Так и хоронили. За счёт государства — и подешевле. Геройски погибших — но подальше от телекамер, политиков, любопытных и туристов. На окраине Москвы, на бывшем сельском кладбище. Хорошо, что хоть название оказалось утешительным — Богородское...

— Храни вас Господь, — крестил звезды, людей, небо с кружащим в вышине аистом, свежие могилы местный священник.

Автобусы Министерства обороны привезли седых, не по возрасту стареньких, словно умерших вместе с пропавшими сыновьями, родителей. Тех, кто не нашел своих детей ни среди живых, ни среди мертвых, ни в списках пленных, ни в холодных ростовских камерах. А “пропавшие без вести” — они могут быть и среди любого “Неизвестного солдата”. Верьте, что своего. Надейтесь, что где-то здесь...

Отцы ещё держались. Многие служили сами и знали: солдата на войну посылают не командиры — политики. Командиров тоже посылают умирать, и среди этих, неизвестных, они тоже наверняка лежат. Несмотря на выданные жетоны. А история, хотя и недолгая, но уже подтвердила: погибали русские парни на Кавказе не зря. Зачастую глупо — но не зря. Потому что вроде остановили заразу, поползшую по стране. Перестали бояться вестей с юга...

И только матери, небесные русские женщины, бросались от ямы к яме. Где мой? В которой? Где упасть? Где замереть-остаться? Какой холмик становится родным — вместо сына? Успеть, успеть оказаться рядом в самый последний его миг на земле. Фуражечки новые прибиты к красным крышкам, а на последних снимочках они в шапках стояли. Зима была... Здесь? А вдруг здесь? Среди всех неизвестных — какой её? Ну подскажите же кто-нибудь!!!

Падали, обессиленные, там, где подгибались ноги. А может, как раз у своего? Или всё же там, через одного? Через два? Они доползут, только скажите...

— Скажите! — вставали, щупленькие, крохотные, на краю могил женщины и вдруг находили в себе силы поднять за грудки офицеров салютного парадного полка — сплошь подобранных под два метра гренадёров.

Но плакали те вместе с матерями, проклиная свою миссию. Обмирали рядом и сельские старушки, подошедшие из соседних деревень помянуть и своих мужей, женихов из Великой Отечественной, тоже лежащих где-то под такой же табличкой.

— Помяни, Господи, здесь лежащих, — продолжал ходить священник вдоль новеньких, выровненных, словно солдатика в строю, могил: на Руси они никогда не переводились — воины и священники. Читал громко, нараспев, словно с высоким небом разговаривал. — Помяни и тех, кого мы не помянули из-за множества имён. Или кого забыли. Или чьи подвиги не знаем. Но Ты, Господи, знаешь всех защитников России и помяни каждого. И вознеси их в селение праведных.

Гремел салют — в память.

Шла молитва — за упокой.

И кружил в небе аист. Высоко — там, где теперь парили и успокоенные наконец-то солдатские души. Которым не нужны уже были ни бирки, ни метки, ни нацарапанные ножом имена...

— **Аминь!**